

Джуди ХОГАН
БОБРИНАЯ
ДУША

СТИХИ

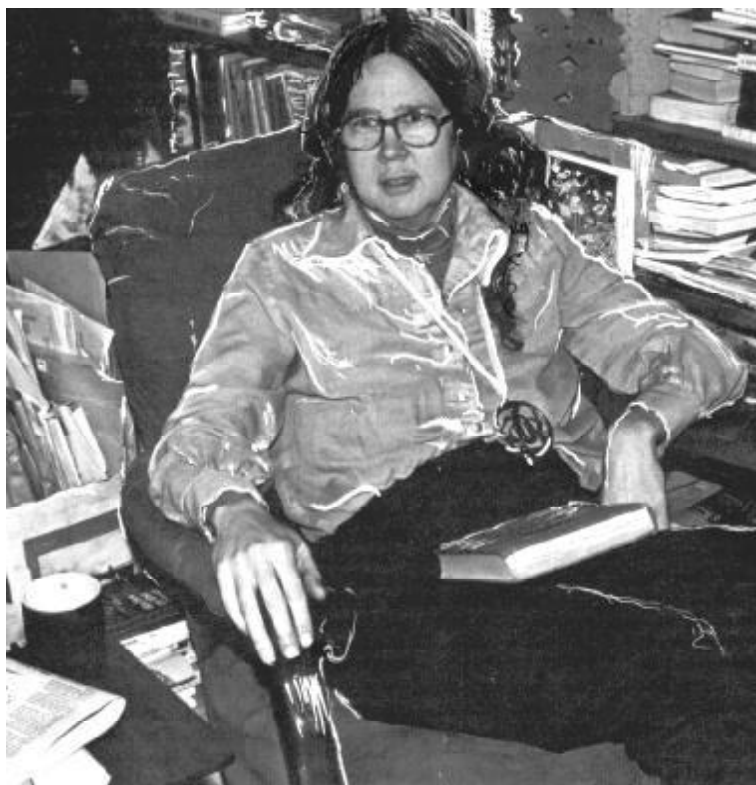


Литературная Кострома

1997

Посвящаю моим российским друзьям,
открывшим мне новые значения слова «душа».

**Джуди Хоган,
Северная Каролина, США.**



УЛЫБКА ИЗ-ЗА ОКЕАНА

Естественной улыбкой человек вызывает доброту для себя и для других, располагает людей к доверительности. Говорят, улыбка помогает стать счастливым. Думаю об этом, получив интересное фото, и словно бы вглядываюсь через океан в незнакомое лицо, дорисовываю воображением предполагаемые черты характера, житейскую судьбу, и кажется эта женщина из Америки виденной где-то однажды, за строками письма слышу ее голос, речь навевает давнюю, может быть, из прошлого века, мелодию. Сейчас на противоположном материке, в штате Северная Каролина другое время суток. Наверно, миссис думает о своих детях — они, все трое, уже взрослые, находятся в разных городах и материнских забот не убавляют, хотя в письмах, отправленных в Кострому, она их упоминает не часто. Даже однажды подумалось: вот сочиняла бы такие длинные письма моя мама, она обязательно бы вспомнила про каждого из нас одиннадцати, за кого-то порадовалась бы, кому-то высказала упреки, за некоторых — волновалась, сердцем чувствуя неладное; пожалуй, думами о путешествиях и голову свою занимать не стала, лучше бы поехала внучат навестить. Об этом же я вспомню через некоторое время при встрече с матерью Джуди Хоган, которая числится в известных альпинистках.

Но вот улыбка, но вот признания-рассказы о другой жизни, о других интересах и возможностях свидетельствуют, что есть и другая психология, иное понимание смысла бытия. «Когда я была молода, ко всему относилась очень серьезно. По мере того, как моя жизнь проходила по разным дорогам, я училась смеяться больше и больше. Думаю, что трудности и борьба с ними требовали, чтобы я улыбалась».

Человек всегда значительнее и лучше того, что знают о нем окружающие. И сам о себе он всего не знает, если не умеет выбраться из привычного многолетнего плена бытовых условий, он не учитывает, даже не осознает всех своих возможностей, поэтому самого главного может и не сказать. Разнообразие занятий и общения, видимо, принесли моей новой знакомой уверенность в себе и раскрепощенность. Письма и книги Джуди Хоган открывают ее характер, художественный вкус, организаторские способности. Привлекают размышления о творчестве, концепция человека, обладающего признаками свободы и самоопределения, методика работы с одаренными людьми разных возрастов, склонными к сочинительству.

Письма, книги, сборник поэм Джуди Хоган и рукописная поэма, только что посвященная автору этих заметок, укрепляли интерес и уже обстоятельно вовлекли в разговор о «вечных вопросах», о творчестве, о мастерах мировой литературы. Мы были деликатны и терпеливы, не умели упрекать друг друга за непонимание или несовпадающие оценки самых авторитетных произведений прошлых и настоящего веков. Оказалось, что нами уже усвоены слова Пушкина из статьи о Радищеве: «Нет убедительности в поношениях; и нет истины, где нет любви». Теперь знаю: прорвалась встречная убедительность в радостных рассказах о передаваемом даре, о приближении к истине через познание — в любимом деле, в любви к соотечественникам.

Расстояние, дефицит времени и языковой барьер замедляли письменное общение. Но литература облагораживала и усложняла его. Она давала нам возможность продвигаться к пониманию, к раскованности суждений и письменной речи, определяла ориентиры бесед. Она открывала перспективу и настраивала на реализацию замыслов по проекту культурных связей между городами-побратимами.

Теперь уже невозможно рассказать обо всех темах нашего письменного диалога через океан. Конечно, не миновали мы Чехова, Тургенева, Пушкина, Достоевского, Бунина, Ахматову, Есенина, Цветаеву... Говорить приходилось только о тех, кто так или иначе известен американке, она вероятно, тоже ориентировалась по моим упоминаниям каких-то авторов.

Нас утешала, давала надежду обоим мысль о том, что есть еще люди способные читать и понимать Пушкина или хотя бы устремленные знать кого-то еще кроме известных в Америке русских писателей. В диалоге проявлялись объединительные устремления, которым не могут быть помехой ни океан, ни языковой барьер, ни различия образов жизни. Джуди Хоган с этим согласна.

Вот так все и смыкалось, соединялось: личная жизнь и пережитое, прочувствованное, обдуманное другими — в разных десятилетиях, в разных веках, на разных берегах океана и сторонах земли, в различных деревнях и городах, «общественных формациях». Из одного семейного дома протягивались невидимые нити к другому.

Джуди — свободная как солнце (об этом есть у нее стихи) подтверждала: «Мы меняемся, и предаемся радости жизни, малящим звездам... В сумерках светлячки тянутся к свету и открывают места, где мы чувствуем себя еще больше дома...»



ЭТА РЕКА

Воспоминанья подобны рыбам,
Редко всплывающим на поверхность.
Запомнить важно, что там их много
И их движения не заметны.
Бобры, те тоже куда как скрытны,
Следы трудов их ночных ищу я,
Кусочек дерева поднимаю
И вижу оранжевый свежий срез,
А не заветрившийся тёмно-серый.
Приглядываюсь и следы читаю —
Олени здесь были и был енот.
Бобер избегает меня, как рыбы,
Лишь раз я застала его плывущим
Вдоль берега, прямо у ног моих.
И несколько дней не могла поверить
Глазам своим, вот и с любовью так —
Покоится между воспоминаний,
А чуть обнаружит себя, как мы
Глазам своим собственным не доверяем.
Не верь в кульбиты и сальто-мортале.
Верь лишь в тайную жизнь бобрихи.
Вся сметка её для того, чтоб выжить,

Сберечь пропитанье и домик свой,
Где жир нагуливают бобрята.
Домик ее так укрыт надёжно,
Что с толку сбитая я ищу
Приметы, чтобъ мне разобраться,
Кто в старых домиках обитает.
Возможно гнездо она поменяла,
Перехитрив меня. Ей ведь надо
Не просто спастись, а продлить свой век.
Переняла у речного ветра,
Как одурачить и глаз, и сердце,
Ведь нецеломудренное оно
И верить готово всему, что видит.
Однако истина есть во всем:
В течение, двигающемся по руслу,
Какие препоны ему ни ставь.
И в том, что следы оставляет всё,
Включая, конечно, и жизнь бобра,
А сердце доверчивое свободно
Их в доказательства превращает:
Всего лишь несколько свежих щепок —
И вся история ей ясна.
И может она целый мир построить,
Из фразы, услышанной мимоходом,
В которую чуть ли ни целый месяц
Она никак не могла поверить.
И птицы речные знакомы ей.
Всегда ей известно об их отлете,
Ибо кроме них кто расскажет
Другим обитателям этих мест,
Что она здесь признана; лишь тогда,
Когда на камень усевшись свой,
Начнет следить она за течением
Стихотворенья, вернутся птицы
К любимым заводям, полным рыбы,
Отметив только ее фигурку,
Они направят свой острый взгляд
Сквозь воду на рыбные косяки.
Всегда доказательств она хотела:
Такою требовательной была,

Что всех, кто любил ее, отпугнула.
Теперь лишь она понимает, что
Не нужно в поисках доказательств
Обыскивать реку, ведь каждый день
Она на вчерашнюю не похожа.
Теперь лишь она понимает, что
Воспоминая — нечто живое,
Они питаются и растут,
И вдруг, однажды, взмывают в воздух,
Когда ты вовсе не ожидаешь,
В воздух и чуждый им, и опасный,
Он есть и ему ничего не надо,
Покорен солнцу, покорен ветру,
И не обманут он их стихией.
Разум её и подвижен, и щедр,
Как воздух, и тот, кто его вдыхает,
Уж тем и поддерживает свой дух;
А обонянье ее богато
Всеми запахами речными —
Грязь, рыбы дохлые и коряги,
И только что выметанные икринки,
Взвесь, замутняющая течение —
Песчинки и мусор береговой.
А наша вселенная состоит —
Из воздуха, из воды и грязи,
Из них мы и жизнь свою создаем,
Жизнь учит нас прятаться, но не только
Ради спасенья, но ради восторга
В стихию воздушную окунуться,
В страсть и в нежность — ведь воздух знает,
Как знают старые деревья,
Что лучше поддаться зубам бобрини
Или поддаться любовным играм,
Как рыбы на илистом сонном дне.



ЖИВАЯ ВОДА

Любовь всегда парадоксальна,
Но нам она всего нужнее,
Хоть мы и злимся, что она
Нас расслабляет — неизбежно.
Но любишь ты или стремишься
Любовь свою преодолеть,
В тебе всегда живая влага.
Все любящие человечны,
Быть человеком — в чем еще
Смысл жизни; быть самим собою.
Пожалуй горше нет страданья,
Чем медленное умиранье духа,
Не страсти именно, а духа,
Подобного древесным сокам,
Божественному провиденью,
Глубинам собственного я —
Вы называйте, как хотите
Суть Вашу. А вопрос — кто я
Пугал меня неоднократно;
Но каждый раз всю волю вмест
Я собирала и она
Росла, наращивала кольца,
И глубоко пускала корни
В ту землю, где стояла я.
Вот почему я всюду дома,
И не нужны ни мать, ни дети,
Возлюбленный и тот не нужен.
Дом там, где дерево мое
В сырой земле укоренилось,
И тянет листовенные руки
К любой пушинке облаков.
Добро пожаловать. Входи.



6 января 1991 г.

Перевела Галина Гампер

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Джуди Хоган живет в Северной Каролине, в США. Она — пионер-первопроходец среди американских поэтов, посетивших Россию в новые ее времена. Джуди впервые приехала в Россию летом 1992 г., затем побывала у нас в 1995 году. Жила в столицах и в русских деревнях под Костромой.

Для этой доброй, многое пережившей, выносливой и тонко талантливой женщины Россия стала понятна и близка. Ее стихи о костромских деревнях и о поселке Комарово под Петербургом естественно вошли в большой стихотворный цикл, начатый еще в Северной Каролине. Она назвала его «Бобриная душа».

Эти стихи написаны вдумчивым, наблюдательным, непрестанно познающим поэтом. На первый взгляд они напоминают стихотворные заметки фенолога: смена времен года, повадки животных и птиц, умирание и воскресение листвы. Но только на первый взгляд. В ткань наблюдений постоянно вплетается золотая нить лирического раздумья и философского осмысления природы, созданий и людей.

Собственная душа поэта ассоциируется с образом бобра — строителя, терпеливого и упорного в труде и сохранении рода. А все, что происходит с бобром, корреспондирует с некоторыми эпизодами жизни Джуди Хоган, верной девизу: созидание и преодоление.

Русскому читателю будет близок мир поэта «бобриной складки», понимающего нашу природу и культуру. Поэта, который любит нас и сочувствует нам.

Добро пожаловать в бобриную хатку — в поэтический дом Джуди Хоган.

Нонна Слепакова,
С.-Петербург, 1995 г.



ДУША БОБРИХИ

I

Вход в это жилище затоплен.
Бобриха разве не знала,
что так будет?
Где она? Дремлет
в верхней камерке, такой уютной средь ила,
под хлюпающей водой?
А гуси встревожились дружно:
Ночлег — на другом берегу.
Да известно ли ей, как надо
строить, чтобы вода ее не настигла,
или придется ей выплывать, когда
дожди переполнят реку, накроют берег?
Она ошиблась. Я это видела четко,
воочью. Не упадут деревья,
которые так терпеливо подгрызла она.
Я сохранила щепки-куски древесины,
что бобриха оставляет на обжитом месте,
себе прогрызая дорогу
к другому. Не так уж важны
ее промахи, если у ней в избытке
и решимости подлинной, и терпенья —
одолеть, пробиться! И будет она работать
над тем, во что верит.

А я похожа
на эту бобриху, постигшую реку —
не в совершенстве, зато во всей сути.

Я унаследовала, учившись прилежно,
её бобриную душу. И вот начинаю
строить свою хатку у речки. Я буду, буду
тоже ночной, как должно, и тоже хитрой,
тоже буду искусными грызть резцами,
тоже буду верной в своем постоянстве.
Я научусь работать, — нет, не на работе, —
в хатке Духа, где спит душа моя,
словно душа бобрихи среди дня, и трудится
по ночам, — неважно, тепло снаружи
или холодно, дожди наверху
или ледяной ветер.
Я научилась решать для себя вопросы
бытия: как нам подобает жить
мудро — внутри себя и вовне; и как
стать сильнее и осведомленней, при этом
оставаясь простыми, доступными;





только любовь перенесет нас через любое ограждение — из тех, которые мы привыкли воздвигать для спокойствия и удобства; только, конечно же, мы ограждаем себя изнутри. Мы теряем нить жизни, едва собравшись распрямить и распутать. Всё теряем, что никогда не должны бы терять: нашу суть, наше «я». Ограждение нас разрушает, а мы даже не замечаем. Обрядовый танец вражды нами овладевает, и жажду мы утоляем оскверненной водой, позабыв, какова ключевая; и память о том чистейшем, освежающем вкусе ее — предана забвению. Мы хороним душу вместе с телом. Как тяжело — одолеть всю старинную ненависть эту, освободить от обломков наш кругозор и помочь нам понять, что всё же легко любить, — зачем это так.

А душа бобрехи знает, чего желает. Бобрехи упорно шлепает плотным хвостом по воде, когда мучают меня сомнения, и мне бы лучше делать что-то попроще, — а это требует всю, всю меня. Здесь — мой верный шанс: он слетает, как тысяча краснокрылых черных дроздов, обитающих в рощах моих. Я вижу их, живых и подвижных, на каждой ветке. Слышу слитный их гомон. Они щебечут

обо мне. И дают мне примерно десять минут. И вперед я твердо ступаю все по знакомой тропе. Они меня принимают и летят, лишь чуть-чуть меня опережая. Они громко меня обсуждают, выносят свой приговор.

Потом постепенно стихают. Тысяча голосов сменилась молчаньем, бесшумным вздыманием двух тысяч крыльев. Они не вернуться назад. Они вливаются в небо и улетают сначала вверх по реке, а потом — на юг. Я там, где была я прежде, но изменилась. Снова ясна. А душа насыщена больше — отказавшись еще от нескольких мыслей, что меня уже не смутят.

А речка сегодня —
Коричнево замутилась: знак, что идет весна.
Солнце свершило круг. Дождь пробудит от сна нарциссы; а красные крылышки не пробудут долго на южных водах; спарятся гуси ради гнезд и птенцов грядущих: подходит март.

29 дек. 1991 г. Хау близ Саксапаху.





Ирине

«Пришла беда — отвори ворота!»

/Русская пословица/.

Солнышко в знаке Рыб; я — рыбка.
 Мне славно в луче и в тине. Мой страх
 уходит. Открой ворота! Пусть разом
 входят все скорби. Я изучу
 эту весеннюю реку,
 что душу мне моет и удобряет.
 Медленно шлепает мимо цапля
 с голубоватым блеском на крыльях.
 Тина и свет — Вселенная наша.
 Мир ежедневно мы сотворяем
 и лепим сосуды из глины /из горя/.
 И нет ни песчинки, не подлежащей
 преобразованью; и ни комочка
 тины, сносимой вниз по теченью,
 который бы не цеплялся в страхе
 за корни — непрочную, но опору.
 У нас в крови — возрожденье. Травы
 оно поит, возвращая к жизни;
 оно приникает к скалам, которых
 нельзя миновать нам. Но свет поющий
 к нам прорывается. Мы приходим
 чистыми — в гавань, куда стремились.
 Мутная речка нас не подводит.
 Зима смягчает свое дыханье,
 снимая оковы с лесов прибрежных
 и реки, что так была неподвижна.
 Зима улыбается и зевает,
 сквозь тьму поспешая к своей постели,
 под листья. Журчанье воды холодной

баюкает зиму. Мороз, мы слышим,
храпит, ворочаясь. Эти вздохи
над речкой разносятся, охлаждая
несмелые пальцы побегов нежных,
что тянутся к тем ледяным кристаллам,
которые звездами называют.
Свет первый — Весна, и она «шагает»
по нашему руслу, белесый ил
на дно оседает, а черепахи
всплывают, чтобы тепла глотнуть.
Их панцири с холоду задубели.
Они подплывают к бревну, бобрами
изгрызенному, чтоб греться на солнце,
которое помнят с времен древнейших,
что были суровее — но щедрее.
Весенний свет крестить начинает
свою флотилию, что спешит
ко мне по воде — мириадами вспышек,
то зажигаясь, то исчезая.
То снова лодки отважных греков
примчались — вернуть Елену. И свет —
на их стороне, но вновь не поможет...
Вот то последнее, что приняла я,
желая бесчувственной быть. Не выйдет, —
коль хочешь, чтоб древние черепахи,
к бревну выползая, тянули шею
на песню твою. Коль будить желаешь
горластых квакуш, чтоб они орали
среди тины, в своих невидимых норах;
коль хочешь словами умерить боль
живых еще веток, что беспощадно
окованы льдом и умерщвлены.
Ты их не утетишь, если отвергнешь
сей ил, облепивший тебя печалью,
оставивший горестный привкус пепла
на языке.

«Помни: мир — такой,
а не иной. Это свет и тина.
Свет возникает только из ила.
Папоротник, возрождаясь вновь,
крылья зеленые раскрывает

только на скалах, покрытых илом, —
без света, под бурым и домотканым
своим одеяньем, — и осторожно
пускается в путь по звездной тропе,
которую влага ему открывает».
... Да, зелень, которую было трудно
даже представить, восходит там,
где смерть, казалось бы, воцарилась.
... Побег алые клонит ветер;
все клетки — в экстазе, и запевают
древнейшую, звучную песнь Желанья.

1 марта 1992 г. Саксапаху.



VIII

Judy Hogan

Вся мощь — в купавке желтой, в день воскресный,
холодною весною, пред закатом.
Я сломлена, а не она. Как масло —
все лепестки ее вокруг коронки
чистейшего оранжевого цвета,
как крылья бабочки «Монарх». Ее
смутит ли «ограниченность обзора»?..
Она ведь помнит, что на днях видала

цветов густую дымку на деревьях —
цветов бледно-лиловых, розоватых:
сиял от них весь горизонт огромный,
происходило в пурпур погруженье.
Да и сейчас на улице — движенье:
деревья почки красные взрывают,
ничуть не опасаясь злого ветра.
Вот так и я, — купавка размышляет, —
но каждый год Вселенная моя
всё тяжелеет; почва, внутри которой
я запускаю корни; эти камни,
которые сдвигаю, чтоб подняться, —
берут всё больше силы, истощают
всё мужество. Должно быть, я увяну
и не успею расцвести! И все ж —
живу и выздоравливаю. Вóт я.
Ни шрама на моих лимонных, свежих
и гладких лепестках. Не чую страха
пред будущим; его пока не вижу...
Покуда я борюсь, оно всё больше
краснеет, словно небо в час заката.
И ширится багрянец, поднимая
шафранный яркий полог... .. Говорить
придется мне в оранжевых, лимонных
тонах; и вспоминать, что есть мгновенья
единственного долга — продержаться,
еще денечек просуществовать
загадочной такой же, величавой,
как желтый танец лепестков вокруг
оранжевого рога изобилья...
Жизнь Духа многозначна; только злато
в расчет берется. Бурый цвет и серый
придут, уйдут. Зима возьмет, что должно,
и кой-кого скуёт. Но бурый цвет
исчезнет; серый — золоту уступит:
теплу и свету. Гуси это знают —
они сигналы подают друг другу
под голубым иль под свинцовым небом,
когда вода как бы покрыта пеплом
или чиста.

Жизнь борется за жизнь.
Моя душа — не исключенье. Правда,
хотелось бы ей скрыть свое лицо
среди жимолости, мощный кедр обвившей, —
но ей еще ни разу не случилось
вспять повернуть, когда ее судьба
взывает к ней настойчивей, чем гуси,
зовущие друг друга. Каждый миг
ее к земле как бы всё больше клонит...
Ну как же вновь ей голову поднять
повыше, чтобы свет слепящий видеть
в апрельский ясный день?.. Она не знает.
Но желтая купавка — знает точно.

22 марта 1992 г. Саксапахуа.



XI

Приходит день — и щедро награждает
тебя земля зеленым. Все оттенки,
что светотень создаст. Те — зелены
до желтизны, а эти — серебристы
до белизны. А тучки то затмят
глухую зелень чащ, то, разбежавшись,
живучее откроют полнокровье
зеленых юных роц по склонам гор.
Всё это — из сухих стволов. Незримо
сок двигался, но объяснишь ли этим
возврат всеобщий зелени? Свершился
он и во мне, но как? — ответить трудно.

И дальше — парадоксы. Этот клен,
подрубленный — дал свежий лист багряный,
и раны незаметны, будто крови
он не терял. Теперь он посылает
зеленое вслед красному — по жилкам,
в точнейшие места ожившей кроны.
Сегодня верит бабочка, что реку
перелетит. Канадский «одиночка»
вверх по реке плывет в гнездо подруги;
покрикивает ястреб о моем
присутствии в лесу — и суетится.
Бобриный лаз я нахожу; скалу,
где дремлет цапля. Шевеля бревно
сплавного леса, речка провожает
меня журчаньем, теплым дуновеньем
весны. И я покорна совершенству —
во мне, в других, везде, где есть оно.
Оно — не результат, не окончанье —
развитье! Всё отмершее — уносит,
возобновляясь; и сулит лишь то, что
сумеет дать. Оно убеждено:
имея столько, можно ошибаться.
... Подрублена и я; и я теряла
кровь, отвергая смерть. Моя листва
здесь отросла опять. Лишь я и вижу,
что делать мне. Я слышу голоса
сомнений. Отвечаю им. А после —
моя листва, как встарь, сперва красна,
уверенно, неспешно зеленеет.



Вселенная кричит о тайном знанье —
здесь, где апрельский северный денек,
где далеко — экватор, близко — речка;
где нету городов; где ни бетона,
ни газов выхлопных. Но и сюда
порой заносит пластиковый мусор,
и землемеры здесь деревья метят
и оставляют соком истекать.
Но твари могут жить там, где живется.
Сосновым соком лакомятся нынче
бобрята; новый выводок гусиный
плывет: мать — впереди, папаша — сзади.
И шлепают их маленькие лапки
неистово; но гуси безмятежны:
ведь я — не враг. И живность, и деревья
об этом знают. Большинство людей
почуяло: я прохожу преграды,
такие неприступные сначала.
И отступают прочь мои сомненья.
Всё просто, как листва, что зеленеет
сейчас везде. Я соком наполняюсь:
он радостно к моей струится кроне
и к свету впереди. С движеньем каждым
я познаю, что разумеет зелень,
клянущаяся мне: ты обновилась.

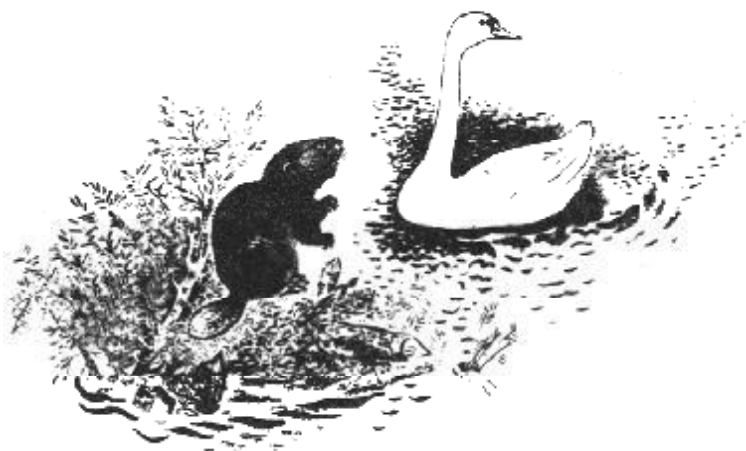
19 апреля 1992 г. Саксапаху.



XVI

У речки поутру — спокойный вид,
обманчивый. И вот что мне известно:
вся-вся река принадлежит бобру.
Здесь гуси — только гости. Он — хозяин.
Клен, вишня и прибрежная береза —
навес, покров его укромной бухты.
И он мне разрешает посещать
свою родную отмель, и над самой
своей незримой крепостью — слагать
стихи. Мое почтение он знает
к душе его бобриной; пробудясь,
плывет он рядом, рядом остается,
и хатку он свою в другое место
не переносит; он научит даже
своих бобрят, что их поэт не тронет,
он — не из тех опасных, с топорами.
Есть розовый таможенный флажок
у нас обоих: он напоминает,
что мир бобра, как и душа поэта,
не знают безопасности вовек.

... Теперь шаги предпринимаю в полном
сознании, что страсть в конце концов
приводит к смерти; что любовь моя —
моя судьба; но что любовь мою
моя природа предопределила.
И тот, кто смог мою увидеть душу,
забрал ее мгновенно. Лишь одно
осталось от святого единенья —
мгновенье, верно выбранное. Я
живу теперь, не зная, не надеясь,
без той надежды, что в душе мелькнула,
чуть мимо бобр проплыл. Он легким был,
в реке своей коричневой, был теплым.
Его я испугала, но не так,
чтоб он утратил любопытство; знал он
меня и раньше; он во сне учуял
меня на берегу, в кустах ольхи.
Он знал, что знала я его жилище.



Мой голос разбудил его, когда
просила я друзей: не наступайте
на крышу хатки! Он не понимает
поэзии моей, хотя она
легко могла бы сон его нарушить,
его заставить рядышком проплыть
и рядышком остаться — компаньоном
моим; хотя в реке его мне было б
не так легко и родственно-тепло.
Любить бобра — принять бобриный мир,
бобриную особость. Об одном лишь
просить: о позволении быть рядом;
любить и о любви писать стихи.

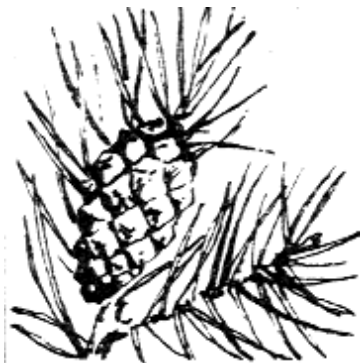
... Он мне — как символ, как второе имя.
Зовите же меня Душой Бобриной!
Я связана навеки с этим бурым
счастливым телом, бодрым и пловучим.
Он — новый Одиссей; не ропщет он
на жребий свой, нагой в открытом море
оставшись на три дня /иль на погибель?/...
Бобр, как и я, мог быть убит, но он
умен и защищает всё, что любит.
Река — его жильё, отчизна, лоно —
без размышлений! Бытие бобра
устремлено то к рыбе, то к деревьям,

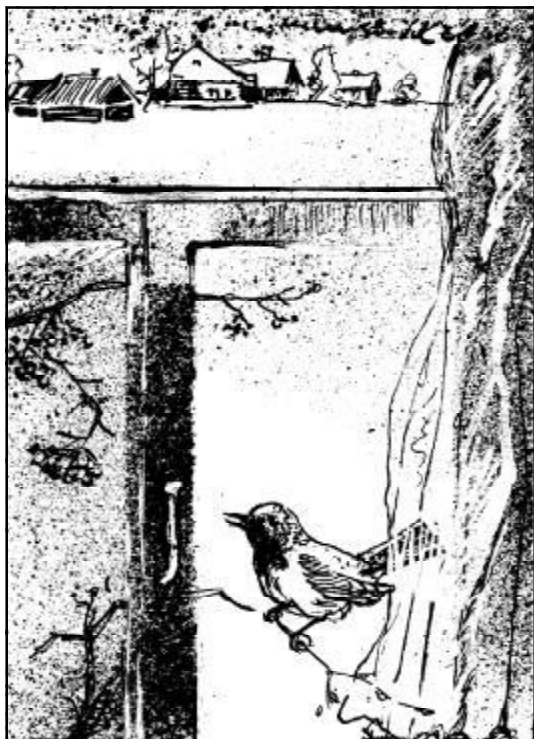
склоняющим оживший, новый лист
над отмелью; то к скалам, по которым
взбирается он вверх, то к плавнику
речному, из которого он строит;
к смоле, коре, питающим его.
Древесный сок он пьет, покамест сок
не загниет. Свою он знает реку
во всех глубинах и наносах ила;
дождь, ветер, наводнение, что меняет
всю отмель; знает он солнцеворот
и вечное возобновление света:
поэт в нем зрит пришествие Творца,
Создателя реки, бобра и почек,
поющих от благоуханья; рыб,
что изгибают путь по мелководью;
и дятла, в вышине сухое древо
долбящего, чтоб выклевать личинки;
и голубей, воркующих, что лето
в родную бухту наконец пришло.
Червь шелковичный запрягает кокон,
крутясь тихонько. Молодая поросль
речной плавник и тину покрывает.
А жимолость цветет, и тяжелеют
леса от аромата. В Каролине
синичка извещает о гостях,
Канадский гусь готовится к полету
на север.



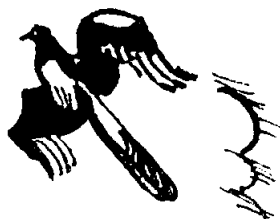
Спи, мой бобр, и счастлив будь.
Коли не свидимся, — я знаю: ты, и может,
один лишь ты, меня и любишь; ты
желаешь, чтоб поэтом настоящим
была я долго — столько, сколько мне
дано. Когда взгрустну, я вспомню гладкий
твой бурый лоск, твой взгляд живой и острый
твой плоский хвост, которым ты рулишь,
и легкость ту, с которой, проплывая,
ты шлепал по воде. Такая легкость
приходит, если сделано уже
то, что сперва казалось невозможным.
... Вот и вершина. Легкие и сердце
работают, не прекращая. В те
часы, когда один трудился, тяжело
дыша, другой с усилием шагал
по Вечности, всё выше. Ну а после —
предел, когда слабеешь. И тогда —
дом, кресло, свежий кофе. Облегченье:
столь вкусным кофе не бывал ни разу.
Ты — труженик, мой бобр, и лёгок ты
лишь от часов работы неустанной
или борьбы. Я — труженица тоже.
Мы — родичи. Едины — здесь, сейчас,
езде, где после будут наши души.

17 мая 1992 г. Саксапаху.





**СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ
В РОССИИ И В ДЕВОНЕ**



XV

Я дремлю в русском поле. Сорока
и кузнечик поют колыбельную мне.
Здесь бродя, я видала ромашку и лютик.
И шмеля, навестившего сласть луговую.
... Я готовилась к этому долго. И вот
мой — июль. И Россия — моя. И ничто
не нарушит покоя во мне. Даже солнце!
В Комарово! где солнца так мало.
Нет, не Финский залив меня тянет, — жужжанье,
луговое гуденье крылатых созданий,
испаряющих сушь так медлительно, что
дымка неразличима. И только березы,
высоки́ и задумчивы, воздух туманят.
Не в Уэльсе, не в Северной я Каролине
у себя. Я — в РОССИИ. ДА, наш пересмешник
на сороку похож; я легко бы могла перепутать,
и цветов луговых нарвала бы я тех же
и в Уэльсе. Черны ежевичные грозди
здесь, как всюду, где есть ежевика. Но я —
здесь, потому что быть захотелось
здесь. Потому, что на миг приоткрылась
дверь, одну лишь меня пропустив. И сейчас
я на новых дорогах начну познавать
жизнь бобриную тайную. Этих берез
белизна беззаветная мне сообщает
мягкость новую; трепетный шелест травы
вкруг меня — незнакомую нежность мне дарит.
Здесь душа отдыхает.

Мне рад этот луг,
потому что он чувствует: здешние люди
крепко держат тяжелые створки ворот,

что открылись меж нами, — чтоб вновь не закрылись.
Будто все мы на солнечном этом лугу
собрались и уселись. Взаимные наши
страхи в тень отступили, как стая трусливых,
укрошенных зверей. И бестрепетно мы
пьем нектар. И легко мы находим слова,
чтобы высказаться. А глаза наши вмиг
остальное доскажут. Одна у нас речь —
человечья; и мы языком ощущаем
вкус амброзии. Бледный и добрый
свет над нами весь день и всю ночь.
Одинокими мы не бываем. Жасмин
и шиповник всегда с нами радость разделят.
Дождь смеется — и перестает.
Голоса наши тихие тихо восходят
в небо светлое; и, чуть мы только проснемся,
белый северный свет нас опять призывает
к единению утреннему, словно в храме.

8 июля 1992 г. Комарово.



XVI

Скрипит лишь мертвая сосна.
Живые шепчутся чуть слышно,
сухие ветки уронив
давно, чтобы тянулись в небо
живые. На лесной подстилке
меж трав и папоротников
мне хорошо. Скворец, весьма
встревоженный моим приходом,
меня бранивший так сварливо
то с этой ветки, то с другой,

нашел занятие получше
и улетел, пока спала я.
Я привыкаю к стройным соснам
с корою розовой; к березам
с кудрями мягкими, с перстами
трепещущими. Голова
моя — на их корнях. И солнце
меня находит, просочившись
сквозь травы. Мертвая сосна
скрипит, когда залетный ветер
любое дерево тормозит
другое. Ведь живой обязан
принять всю радость, что дают.
Я здесь. Я не могу припомнить,
где я была. Двух тяжких лет —
как не было. Я только здесь.
Я — в ваших рощах, где подушкой
мне служат корни ваших сосен,
а влажный мох, успокаивая,
в меня льет силу. Сны мои —
обрывки облачка на небе
огромном, бледно-голубом.
И свет сквозь папоротник учит
меня всему, что мной забыто,
всему, что мне так нужно знать.

11 июля 1992 г. Комарово.





XIX

Борису

Даже в Стране Чудес нам нужен вожатый.
Вот ты вожатым моим и сделался здесь —
то в Пенатах Репинских, то в Эрмитаже:
ты преданья, истории знаешь о живописцах.
И ты первым был, кто меня однажды зазвал
посидеть; ты чайку заварил, расставил печенья
и других пригласил поболтать со мной.
Это ты открывал и удерживал тяжкую дверь,
чтоб ко мне пропустить Комаровские белые ночи.
Это ты мне помог быть как дома, помог ощутить
и радушие травы, и приветливость вереска в чаще.
И теперь произносишь ты часто короткое слово
«друг». Мы друзья. Ну конечно, ведь я же об этом
с самого знала начала. Ты дал мне прочесть
сказку свою о гигантах, и мне ты признался
в том, что однажды ты умер — во время
операции тяжелой на сердце — и ожил потом.
И когда я спросила о возрасте, ты мне ответил,
что тебе восемь лет, ибо ты исчислял свою жизнь
с этой самой минуты... Я делаю здесь
нечто очень похожее, разве что не умирая.
Я пытаюсь понять, как могла бы я здесь

жить. Предчувствие есть у меня, будто жить здесь я буду. Меня так влечет красота этих роц и полей, и травы этой мягковолосой, голубика влечет и малина, влечет земляника. А березы, юны и нежны, будто девы в расцвете красоты, озираются нетерпеливо, словно выпить хотят всё вино этой жизни до капли, ничего не оставив себе на потом. Ты и я — оба знаем, что к чему и почему. Осторожны мы оба, обещаю давая.

Здесь очень была я перепугана — а напугала жестокость. Много больше красы и жестокости, чем прежде видела я. Или это, быть может, мы все постоянно рискуем — идем в вышине по канату без страховки? И нам подобает ступать поуверенней. Ты — мой вожатый на этом канате здесь, в России, и движешься ты так легко сквозь пространства, которых я очень пугаюсь. Ты уверен: последую я за тобой, и надежны будут ноги мои; не свалюсь. Ты совсем не гигант, ты — обычных размеров, нормального роста человеческого. Ну и довольно. И всё. Я природу мою человеческую теперь понимаю лучше. Здесь я — поскольку я попросту здесь оказалась, послушная тайному зову. Был вожатым ты мне, если я придвигалась поближе, красотой потрясенная или пораженная страхом. У меня появилось второе предчувствие: будто долго буду я жить, и ты мне помогаешь поверить, что оно так и будет. Могу объяснить, почему: потому что уверена поступь твоя, потому, что ты мудр, не вступая в ненужные споры, потому что всегда добродушен твой взор и надежна рука, на которую я опираюсь, выходя из автобуса. Словом, ты — друг.

25 июля 1992 г. Комарово.

XX

Смертным быть — превращениям подчиняться.
Страшно лишь противиться им. Тогда,
как больное древо под жестким ветром,
мы — поломаны: содраны наши ветви,
и листва беспомощно обвисает,
и седеет голая древесина
под дождем. Но солнце этого дня,
косо падая, мне меняться поможет.
Одного лишь часа бессонницы в темноте
мне хватает, чтоб осознать, что я
обновилась. И я, едва пробудившись,
понимаю, где я, и в сон возвращаюсь,
где лежу я, словно на дне морском,
среди водорослей и спующих рыбок
незнакомых форм и расцветок, — вечно во тьме
и в тени. Ну а после — свет, белёсое небо —
даже ночью; днем — наклонное солнце
сквозь березы льется, загустевая
на траве лужаек и обращая
зелень юных кленов — к себе.

Да, я —
твое лето. Я трепещу, готовлюсь,
точно девочка. Страсть меня обновила,
чуть любовь твоя излилась неожиданно
на меня, как вода крещения. Дальше
началось превращенье со мной, проникло,
неспеша, в сознание мое, как луч,
не прямой, а всегда под углом, наклонный.
Тьма — когда я хочу его видеть. Свет —
чуть закрою глаза. Я была похожа
на дитя, бредущее наугад,
пряча взор под капором. Так теперь
не могу я двигаться, ибо слишком
всё вокруг спокойно. Глядеть должна я
в оба! Ведь если не изменюсь
полностью, — я пропала. Никто не видит
этого, — только я, принимающая судьбу —
русской быть, любить тебя, умереть
близ тебя, как твой неразлучник-лебедь.

26 июля 1992 г. Комарово.



XXI

Михаилу

«Российские поля всего прекрасней на свете», — говорю твоим друзьям, тост поднимая. Повторяю это теперь — тебе. Поля твоей России меня переменяли. Это ты меня их научил любить, привел меня на них взглянуть во всем их мягком очарованье без прикрас, в Шарье.

Сижу за тем столом, где ты писал роман, который до краев наполнил всем, что ты знаешь о душе людской — и поседел, пока писал. И мы пересекаем даль, как пара белых гусей. «Бог помогает нам», — ты шепчешь. Я — верю. «Привезла ты дождь сюда, — ты говоришь. — Хорошая примета, и все тебе здесь рады, с дождем прибывшей». Все снова, снова пьют мое здоровье, и мне поют. И лица их полны протяжности и нежности старинных российских песен. Так твои друзья меня хотят порадовать. Пируем. Все пьют вино фруктовое, поют.

Я говорю, что чувствую по-русски.
Они, поняв меня, поют еще.
Им хочется, чтоб полюбила я
их мать-Россию. Я уже люблю,
их матушку и чувствую и понимаю.

Твои поля похожи пред закатом
на озеро, где лилии качает
вода, как лебедей; где камыши
стоят, важны, как цапли, что за рыбкою
следят. Твои поля — уже мои.
Их красоту моею сам ты сделал:
меня в поля завел и объяснил
исконный смысл березы, что в минувших
веках непозабывтых — у крестьян
была как мать. Она тепло давала,
орудья, кров и кухонную утварь.
Как матери, они ей поклонялись,
и, с духами желая говорить,
березу обнимали, припадали
к ее груди; щеками прижимались
к ее коре, молясь.

Твердит мне Вера,
что всем потребно дерево ее,
могучий дуб; и занимает Вера
у дуба силу, чуть ослабнет духом;
когда устанет от заботы вечной
о близких людях и земле родной.
Ее шофер везет нас по дороге,
что провела она. Мы долго едем
лесами сосен, елей и берез.
Куда мы едем? — спрашиваю. Встала
машина. Мы выходим. Вера хочет,
чтоб повидали мы, чтоб постояли
там, где она стоит, когда желает
душой быть зорче, глубже. Принимаю
своей душой любовь ее, вбираю, —
и да поможет мне она, когда
за тыщи миль я буду. Да запомню
поля, что к лесу плотно примыкают
и спят, как дети тихие, тем сном,
послать который могут только боги.



Ну а Татьяна говорит мне, как
влюбилась в двух священников, — в их очи,
подобные озерам. И чем дольше
глядела в них — тем глубже погружалась
в их ясные, безоблачные взоры
Она — как я: смеется над собою.
Мне резвая душа ее понятна:
мы от любви глупеем — и смеемся.

А тот майор в Шарье, который всё
вина мне подливает, повествует
о чем-то, будто русский в совершенстве
я знаю. Переводчица Катюша
теряется — перевести не может...
Который раз прошу: не беспокойся,
но Катя беспокоится. А он
кладет мне руку на руку и с жаром
кричит еще о чем-то... Откровенен
и счастлив он: американке этой
по нраву всё: вино его, еда,
его Россия и друзья. Читаю,
что в сердце у него — без словаря
и переводчицы.

Меж тем Катюша
твердит о солигаличских церквях
погибших. Книгу хочет показать
со снимками: какой-то англичанин
сфотографировал их незадолго
до революции, после которой

их уничтожили. Они на диво прекрасны были, и горюет Катя. Я говорю, что повидала много прекрасных русских храмов, и что избы и церкви — это самая моя любимая архитектура. «Нынче их реставрируют. Не все погибли.»

«Но тех, в Солигаличе, — она в ответ, — уже не реставрируешь!» Она всегда в тревоге за всю Россию, за ее людей, за души их. Философов читает, чтобы понять Россию. Вспоминает, — а есть ли чисто русская культура? Есть, — говорю. Я познаю ее. Она — в полях, которые так нежно лежат — как дети возле материнской груди. Она сияет высшим духом из глаз людских. И Вера произносит: «Друг другу помогаем мы. Вот так и выживаем.»

И опять — березы; слабы их силы, но великодушны дары. Они — везде. Всё отдают, что есть у них. Они — Россия. Но еще щедрей берез — народ, поющий о том, что он душой своей постиг: что и страдание не беспредельно, — есть место за мучительною болью для радости, не безграничной тоже; есть место, где сливаются все ноты, но скорбь не рушит радостной музыки упругой человеческой души.

7 августа 1992 г. Шарья.





XXIII

Затеряна я здесь и одинока,
 как никогда. Я — что речной плавник:
 его скопление держат ил и корни
 травы придонной. Простираю стебли
 вверх, к солнцу; быть стараюсь оживленной,
 но корни у меня печальны. Речка
 бегущая — моим слезам подобна.
 А длинную траву, на отмель эту
 с песком и тиной брошенную, — волны
 расчесывают чистыми перстами,
 как волосы мои. Хочу лишь плакать.
 И прячусь от тебя, от всех. И нету
 со мною никого. И ничего
 нет у меня. Вот что́ я ощущаю.
 Пускай твердит мне разум вновь и вновь,
 что это всё не так, — но сердцу больно.
 От синих васильков в зеленом поле.
 болят глаза мои. Малины сладость
 на языке — желанья берedit.
 Кто я такая? Я — американка,
 чужая здесь. Страшит меня порою
 обычай здешний. Я тебя прошу
 помочь, но ты смеешься.

Объясняешь,
 что такова традиция: в семье
 из миски из одной едят все разом.
 «Мы все — одно. Мы все — родня. Одна
 у нас душа. А Джуди — гостья.

Она пока другая. У нее душа
иная. Джуди ест одна». Хотел ты,
чтоб я узнала, каково же это?
Узнала. Сердце ноет. Ты чуть свет
меня приводишь к вековой березе,
чьи два ствола вырастают из единой
системы корневой. И к двум стволам.
мы прислоняемся. И я молюсь: «Пусть будет
всё хорошо у нас, всё хорошо».
Мне кажется, ты молишься о том же.
Но я всё плачу, омываю душу —
чужачку, одиночку, что на берег
твоей реки судьбой занесена.
Смогла бы я когда-нибудь? Сумела б?
Была бы здесь любима и желанна?
Мне кажется порой — я здесь желанна.
Мне женщина одна сказала, будто
во мне — душа российской староверки.
Не оттого ль мне тяжело есть одной?
Мне душу слезы тихо омывают,
А волосы мои, длинные, плавучи,
песком прижаты к отмели, грустят.

16 августа 1992 г. Горка.





XXIV

Солнце на этой песчаной косе. А большего и не нужно, — солнца и дружбы всего лишь. Живет эта отмель отныне во мне. Я ее не забуду. Песок влажный, прохладный я вокруг себя утоптала босыми ногами и откинулась, чтоб наблюдать облака, проходящие медленно. Иль это мы проходим по нашей потихоньку вращающейся Земле, а они — ожидают? Прямо сейчас и могу я всего ожидать... Щедрое солнце. Пчела дружелюбная рядом. Девы-березы. Они улыбаются, если ветер их треплет. Они, как и здешние люди, съели пуд соли.

Я тоже, я тоже.

Слезы свои я глотаю. Я это умею.
Я их внутри оставляю, стараясь быть мудрой,

доброй и всё понимающей. Кротко прощенья прошу, делая промахи в новой деревне моей. Вот будет радость, когда перестанут считать гостьей меня, и я стану одной из этих людей. И по-моему, так оно будет, хотя всё хорошее требует времени. Солнце терпеливо. Оно помогает мне. Мягок песок под моей головой и спиной. Мои ноги вольны двигаться как им угодно. А сердце мое знает, как чувствовать, не желая огласки. Пусть другие меня познаю́т, пока познать я пытаюсь их. Люди всё и всегда узнаю́т раньше или позже. Лишь наши провинности сыплются, словно корм для каких-то цыплят, что склюют без остатка сколько ни дай. Но зато уж хорошие свойства скрытно по жизни мы носим. Так носят лесную малину в ведрах, в корзинах, прикрыв от случайного взора — женщины в белых платках, руки старательно пряча от комаров и кусачих слепней, надевая высокие боты: ведь на пути — и колючки, и топи. Однажды и я тоже в леса научусь погружаться, и тоже найду я там и малину, и все остальные плоды, лесом даруемые. Я уже научилась крепко обхватывать дерево, звать на подмогу; умею голову класть на подушку песчаную, солнышка ждать.

17 августа 1992 г. Горка.



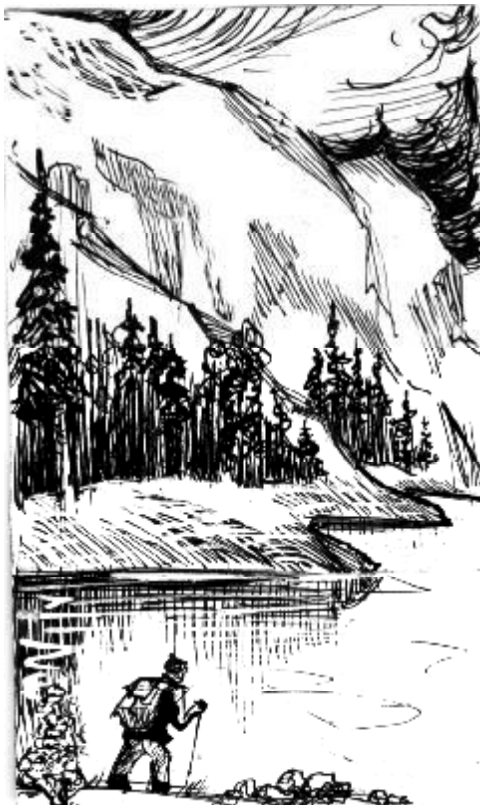
XXVII

А что есть Любовь? Быть смертным —
покорно Ей разрешить
пронзить тебя нежной стрелой,
хоть знаешь ты, что умрешь.
Но мы не гибнем, — живее
живем! Ведь жизнь без Любви —
как русло реки сухое,
где воды уж не бегут;
как дом, где уже не слышен
часов музыкальный бой,
столь звучный, что с нетерпеньем
ты ждешь его. Без Любви
жить — словно сидеть у речки
в часы, когда солнца нет,
которое оживило бы
всю зелень травы и мхов,
подкрасило бы теплой охрой
песок и черных утесов
тяжелые крейсера.
... И всю ты Любовь получишь,
коль к Ней не жадна; коль с Ней
готова прожить немало
нелепых пустых деньков;
коль знаешь: сарказмом едким,
слетевшим с любимых уст,
друг хочет лишь защититься
от боли чрезмерной; коль
ты помнишь, где твое сердце
укоренилось; коль
нет дела тебе, что дом твой
далёк. И после страданья —
идет парадокс; потом —
еще страданье; а после —
ты все плоды собрала,
узрев, как буреют листья
и падают. А потом —
вся кровь твоя убегает
от страшных, мерзлых пустынь
зимы; и Зевс-громовержец



на греков не насылал
подобного льда, что кожу
изранил тебе. Тогда
Любовь ты постигла; знаешь
изгибы Ее причуд
и тайную власть — вне мысли,
и вне рассудка, и вне
понятий. Она ведь даже
не требует насыщения,
не ждет утоления жажды,
хотя и жаждала долго...
Она о засухе знает,
готова к ней. Ибо память
хранит Любовь под водою...
В отчаяньи ты, быть может,
но корни сердца — во власти
Любви; не теряют веры
вовсеки! Сердце приемлет
Добро, и Вражду, и Зло,
под маской которых лик свой
скрывает Любовь, верна
лишь Времени, что дано Ей.
И Время, что ей дается,
искуплено. Если речка
способна бежать, то камни
замшелые — остаются,
песок пребудет на месте
и корни деревьев. Они
забытое нами — помнят:
что важен лишь сладкий миг,
когда две души друг в друга
глядят просветленным взором.
Вот — главное. Остальное —
проходит. Песок подвижен,
но все же он здесь — и помнит.
Есть память у черных скал,
и травка мягкая снова
восходит весною, зная,
что солнце всегда заходит...

3 октября 1992 г. Река Тин близ Сэнди Форда.



XXVIII

«Высшая добродетель подобна воде.
 Вода приносит пользу всем существам и не борется с ними.
 Она существует и там, где люди не хотели бы жить, она
 подобна Дао.»

/Лао Цзы, из 8 Дао Де Цзин в переводе Н. Конрада/.

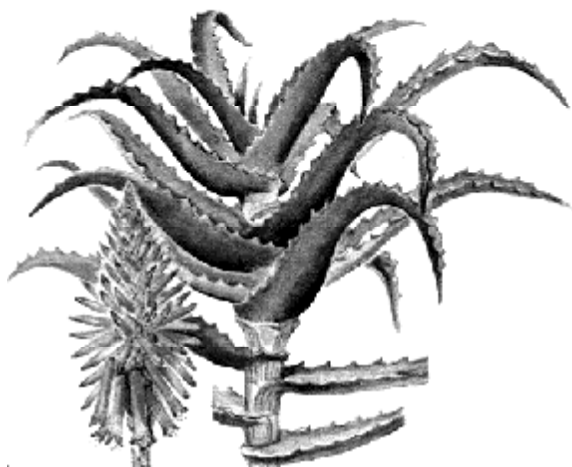
Свернуть с тропы и взглянуть, куда
 с плотины плавно течет вода —
 увидеть Любовь с обеих сторон...
 Упав на скалы, стеклянный шелк,
 вскипев, меняется. Страсть всегда
 чрезмерна: теснина, пена и вихрь, —
 когда преграду чует поток.

Но литься должна вода. У нее
есть вечная мудрость, как у Любви.
Любовь, возвращенная в глубине
людского сердца, всегда найдет
гораздо более мягкий смысл
для слов жестоких, плывущих по
Ее поверхности, как листва,
упавшая в тихую воду, но —
стремниной подхваченная потом
и вмиг унесенная прочь, — как часть
Любви, часть всего.

Потому что в с ё —
есть часть всего. Вселенная дает
и отбирает с легким безразличьем.
То лишь душа людская именуется
ту воду — бурной, эту — гладкой. Это
журчание — зовет слезами, смехом.
Что смех, что слезы — связывают нас.
Настойчивая зелень молодая
весенняя — не лучше и не хуже,
чем запах полумертвых желтых листьев,
гниющих яблок диких... То моя
душа в воде и солнце видит бога,
знак, как прожить достойно и умно.
«Будь как вода». И я была. И буду.
Пусть листья опадут, едва увянув,
но сок струится, — чтоб весной раскрылась
листва для новой боли и томленья.
Не надобно мне видеть всплеск лосося —
поспешный взлет его прощальный над
стеной воды, чтобы понять: лосось
сражается, как я, и побеждает
как я, — в тоске о правде, воплощенной
в словах, как в сочных листьях на огромной
древесной кроне, — символ, путь познания.
Тебя оберегает что-то, если
ты потерял тропу, иль, позабыв
о времени, застигнут мраком в чаще,
скрывающей луну и звезды. Но —
ты выйдешь! Что душа моя постигла —

обряд пути последнего, ухода,
то, что она с последним скажет вздохом:
начавшийся сейчас, он длиться будет,
пока пера не брошу. Всё так просто —
как запах мной не сорванных плодов:
их гниль подточит старые, молодые
и даже нерожденные деревья...
Таков конец; здесь, нынче — трепещу
пред ясностью грядущего ухода.

30 октября 1992 г. близ реки Тин.



XXIX

Все реки различны, но все они
священны, — и нравится мне сидеть
у новой реки — и слушать ее
особенный звук, идущий от скал,
подернутых мхом, поросших плющом
и травкой зеленой; смотреть, каков
придонный ил и песок: золотой,
коричневый, черный? И что мне в том,
стара ли река? Все реки стары
по опыту жизненному. Когда
они юны — простодушно летят

через ступеньки — к мудрости, вверх,
пока их смиренный и зыбкий взгляд
не изливается в Океан.
Чистых иль грязных — он примет их, —
иначе не может! Они в пути
познали природу Добра и Зла:
и то, и другое есть в быстроте,
в свободе движенья — мимо дерев
недвижных, увитых гибкой лозой,
склонившихся, чтобы глядеть на бег
теченья обильного, в пузырьках
чистой радости. Познаёт
река в движении Красоту,
гармонию форм и желаний. Иль —
прозрачную Истину, что как лед
глубины пронизывает, струясь
над скалами, бревнами, — всё подряд
светло обмывая. Ведь у реки
есть мера своя на всё — на успех,
на время, на возраст, на то, что ей
действительно нужно. Прочее всё
река смывает, несколько раз
течением провернув, сгустив
в спокойном пруду, опустив на дно,
чтоб там разложиться оно могло
и почвой стать для рыбьей икры
и водорослей.

Мы живем лишь раз,
а реки — вечно. И то, что мы
после себя оставляем, — они
хранят в холодной пене, в шелку
теченья. Будем же создавать
себя, покуда можем понять,
что это значит — жить одному
иль не одному /единственный Рай/.
Но Ад единственный — это Ад,
который сами мы создаем,
ослепнув от страха и не сумев
услышать баюканье мирных вод,
не чуя, как Солнце хочет пригреть

и осчастливить нас. Выход наш —
стать проще, брать, что дает река
сегодня, и жить, как живут бобры —
без жалоб. Но, вникнув, знаем мы все,
кто мы. Природа наша всегда
подскажет, что делать нам, если мы
сумеем внять и принять сигнал.
И никаких извинений нет,
если хотя бы древо одно
лишается золота своего,
в клетках таящегося, — в поток
мягко роняя его. Река
пить благодарно древу дает,
торжественно, важно. Ибо золотой
отблеск с оранжевым по краям —
то, чему Солнце учило сок
еще до того, как тепло луча
дошло до сока, благословив
дар, заключенный в древе Самом —
мудрость, дремлющую в корнях.

1 ноября 1992 г. Река Тин близ Сэнди Форда.



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| М.Базанков. Улыбка из-за океана <i>Предисловие</i> | 3 |
| Эта река. <i>Перевод Галины Гампер</i> | 5 |
| Живая вода. <i>Перевод Галины Гампер</i> | 8 |
| Н.Слепакова. От переводчика | 9 |
| Душа бобрехи | 10 |
| Солнышко в знаке Рыб | 14 |
| Вся мощь — в купавке желтой | 16 |
| Приходит день | 18 |
| У речки поутру | 21 |

СТИХИ НАПИСАННЫЕ
В РОССИИ И В ДЕВОНЕ

| | |
|--|----|
| Я дремлю в русском поле | 26 |
| Скрипит лишь мертвая сосна | 27 |
| Даже в стране чудес нам нужен вожатый | 29 |
| Смертным быть — превращениям подчиняться | 31 |
| Российские поля всего прекрасней | 32 |
| Затеряна я здесь и одинока | 36 |
| Солнце даровано этой песчаной косе | 38 |
| А что есть любовь? | 40 |
| Свернуть с тропы и взглянуть | 42 |
| Все реки различны | 44 |

Джуди Хоган
БОБРИНАЯ ДУША

Издание Костромской писательской организации
За справками обращаться по адресу:
156005, г.Кострома, пл. Конституции, 1.
Телефоны: 57-21-91, 57-35-02.

Общее и художественное
редактирование — М.Ф.Базанков
Художник — М.Ф.Базанков
Техническое редактирование, компьютерный
набор и оригинал-макет — А.М.Базанков

Сдано в набор 10.01.97. Подписано к печати 28.04.97.

Copyright © 1997 Judy Hogan. All rights reserved.
© Иллюстрации — Михаил Базанков.

1997 г. Типография ИНКСПОТ, Каррборо,
Северная Каролина, США. Тир.2000.